

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК

Под редакцией
А. К. КОТОВА

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 7

О ЧЕХОВЕ

Это всем известная истина, что в юные годы человек живет обыкновенно только настоящим. Прошрое его не интересует, о будущем он не думает — не представляя себе, что оно может что-либо изменить в его жизни; призрак потери, разлуки, смерти не смущает его, и он, не считая, расточает то богатство, о котором после пожалеет. В такой легкомудрой юности я познакомилась с А. П. Чеховым. Источники этого знакомства легко проследить. Моя тетка, артистка Малого театра А. П. Щепкина, была дружна с художницей С. П. Кувшинниковой — известной как близкий человек И. И. Левитана. В числе ее знакомых была Лидия Стахивна Мизинова («Лика» из писем Чехова). Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая «Царевна-Лебедь» из русских сказок. Ее пепельные выющиеся волосы, чудесные серые глаза под «соболиными» бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре. Лика была очень дружна с сестрой А. П. Марией Павловной и познакомила нас. М. П. занималась живописью и преподавала в гимназии Ржевской. Она была

серьезна и сдержанна на вид, и я, привыкшая к экспансивности театрального мира, сперва несколько дичилась ее, но скоро поняла всю ее душевную прелесть, чеховский юмор, тихую веселость и очень полюбила ее. Мы подружились с легкостью молодости, и через нее я познакомилась и с ее братом. Познакомилась как с «братом Маши» и «другом Лики» — и подошла к нему просто и с доверием. Мы часто встречались в Москве, а вскоре М. П. зазвала меня к ним в Мелихово, и я стала ездить туда. И как ни интересно мне жилось в то время в Москве — эти поездки были для меня всегда праздником. А. П. — вероятно, зная, что я в сущности приезжаю не к нему, а к Маше — не тяготился моими приездами и всегда был мне рад.

В Москве мы с Чеховым встречались в редакциях тех журналов и газет, где писал он и где сотрудничала и я: «Русская мысль», «Артист», «Русские ведомости». Жаль, что я не вела дневников того периода: помимо того, что это были годы моей юности, это было еще интересное для Москвы время. Тогда жизнь литературы и искусства шла очень интенсивно. В театре, под иносказанием поэмы, на холсте картины подготавливались и вызывались к жизни заглушенные силы протеста и борьбы. В Москве зарождался и расцвел Художественный театр, у Мамонтова пел вышедший из народа молодой Шаляпин, на выставках чаровал еврей Левитан: поклонение этим двум уже было своего рода протестом и лозунгом. Рефераты и лекции, разрешенные и запрещенные, сменялись концертами, выставками, бенефисами любимых артистов: все вертелось около искусства. Среди этого иногда собирались и веселились как дети — вдруг увлекаясь игрой в фанты, причем получалось, что почтенный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой, а толстый, как воздушный шар, писатель Михеев¹ танцевал балетное па. В нашу компанию попадал и Чехов. Когда он наезжал в Москву, он останавливался всегда в «Большой Московской» гостинице, напротив Иверской, где у него был свой излюбленный номер. С быстротой беспроволочного телеграфа по Москве распространялась весть: «А. П. приехал!», и дорогого гостя начинали чествовать. Чествовали его так усленно, что он сам себя прозвал «Авела-

ном», — это был морской министр, которого ввиду франко-русских симпатий беспрерывно чествовали то в России, то во Франции. И вот, когда приезжал «Авелян», начинались так называемые «общие плавания», как он прозвал наши встречи: он вообще был неистощим на шуточные прозвища и названия. Передо мной — голубая записочка, написанная его тонким, насмешливым почерком:

«...Наконец волны выбросили безумца на берег»... (несколько строк многоточия) «... И простирали руки к двум белым чайкам...»

Это не отрывок из таинственного романа: это — просто записка, означавшая, что приехал А. П. и хочет видеть нас — мою приятельницу молодую артистку Л. Б. Яворскую² и меня. Следовали завтраки в редакции «Артиста» у Куманина³, чаи в редакции «Русских ведомостей» у общего друга «дедушки-Саблина», съемки у Трунова... К этому периоду относится фотография, на которой мы сняты втроем: Яворская, Чехов и я. К Трунову повез нас Куманин, снимавший нас для «Артиста». Снимались мы все вместе и порознь, наконец решено было на память сняться втроем. Мы долго усаживались, хохотали, и когда фотограф сказал «смотрите в аппарат», — А. П. отвернулся и сделал каменное лицо, а мы все не могли успокоиться, смеясь, приставали к нему с чем-то — и в результате получилась такая карточка, что Чехов ее окрестил «Искушение св. Антония».

Его затаскивали по обедам, театрам, собраниям литераторов и пр. Как он писал об этом времени — он жил «в беспрерывном чаду» и в конце концов не без облегчения уезжал в свое Мелихово.

В Москве он разделял наши развлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы, просиживал ночи, слушая музыку, но я не могла отделаться от того впечатления, что «он не с нами» — что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший — хотя многие члены нашей компании, как тот же Саблин, проф. Гольцев, старик Тихомиров — редактор «Детского чтения» и др., были много старше его. И все же: он — старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно — а ему... не интересно. И

где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками — чувствовалась грусть и отчужденность. Была ли тому причиной болезнь, которая уже давала ему себя знать и была ясна, как врачу, — неудовлетворенность ли в личной жизни, но радости у А. П. не было, и всегда на все «издали» смотрелны его прекрасные уминые глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил, с надписью: «Одиному весь мир — пустыня». Но Мелихово явилось для него оазисом в этой пустыне, и там он был совершенно другим, чем в Москве.

Мелихово и для меня было такого рода оазисом.

Я была настоящее дитя города, притом без семьи, жившая в вечном калейдоскопе новых лиц и впечатлений, раб.ты, дела, волнений, развлечений. И эта перегрузка иногда становилась невыносимой — тогда поездка в Мелихово была для меня своего рода успокоительной и очистительной. Уже одно ощущение, когда после душной Москвы, грохота ломовиков, теснящейся толпы выйдешь, бывало, из душного вагона на маленькой станции Лопасня, и вдруг глотнешь чистого воздуха, особенно чистого, ароматного, с запахом поля, травы, сосны — ароматного даже зимой, словно под снегом таится что-то душистое, потом сядешь в тарантас или в сани и едешь полями, полями, вдыхая ту благословенную тишину, тот простор, грустный, задумчивый и благостный, какой бывает только в русской природе, — уже одно это ощущение было радостно и успокоительно для утомленных московской суетой нервов. Словно вдруг приостановился во время быстрого бега — и делаешь передышку. И от серенького неба, от белых берез, краснеющей рябины веяло по дороге покоем и отрадой. (Чехов побранил бы эту фразу, как «рутинную», — но она вполне выражает охватывавшее тогда настроение.) И это ощущение продолжалось и усиливалось, когда я подъезжала к низенькому дому, когда попадала в уютные комнаты Мелихова, в атмосферу чеховской семьи.

В первый раз я попала в Мелихово приблизительно через год после того, как эта маленькая, заброшенная усадьба была куплена⁴. Чехов купил ее за глаза, даже не осматривая. В то время она состояла из запущенного сада, земли с множеством пустырей и неудобного дома.

Через год после покупки усадьбы нельзя было узнать. Вся семья взялась дружно за работу: кто занялся садом, кто огородом, кто посевами, при помощи двух работников не покладая рук чистили, сажали, сеяли... У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы — «хоть палку воткни, вырастет», — говорил А. П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», — заниматься садом. Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня. Мелихово стало настоящей «чеховской усадьбой»: не романтический тургеневский уголок с беседкой «Миловидой» и «Эоловой арфой», не щедринская деревня с страшными воспоминаниями — но и не «дача», хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была А. П. под кабинет. Большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины заносило снегом. Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике, что это они любят ее. А весной — в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам А. П. Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации — может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.

В доме было комнат девять-десять, и когда А. П. в первый раз показывал мне его, — то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, «проходная», то «пушкинская» — по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, — то «для гостей», или «угловая» — она же «диванная», она же — «кабинет». А. П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда нехватает «толпы» или «воинов», одних и тех же статистов проводят через сцену по несколько раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами... чтобы создать впечатление многочисленно-

сти. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в «Юлии Цезаре», и я вспомнила шутку Чехова.

Когда я попала туда, несмотря на то, что имение было в руках Чеховых только год, впечатление было такое, будто Чеховы там живут спокон веку, и что Павел Егорович, отец Чехова, так и состарился в своей «кеleyке», а дети родились в этом ставшем таким уютным доме. Обстановка была более чем скромная—без всякой мишуры: главное украшение была безукоризненная чистота, много воздуха и цветов. Комнаты как-то походили на своих владельцев: келейка Павла Егоровича, с кютами, лампадкой, запахом лекарственных трав и огромными книгами, в которых он записывал все события дня в одной строке⁶, вроде:

- 14. Девченки принесли ландышей из лесу.
 - 15. Превосходно удались Марьюшке налистники.
 - 16. Пастуха молнией убило.
 - 17. Миша женился.
 - 18. Приехали гости, не хватило тюфяков.
- Антон сердит.
Пиона расцвелась.

и т. д.

Эпически спокойно — радости, горести, новости — все в одной строке. Из этой записи можно было понять, откуда у А. П. уменье так кратко и сжато дать в одной фразе всю картину — в одном «горлышке бутылки, блестящем на плотине» — всю картину лунной ночи...⁶

Комната Евгении Яковлевны, кротчайшей и добрейшей матери А. П., — с ослепительной чистоты занавесками, швейной машинкой, огромным шкафом и сундуком, где хранилось все, что только могло понадобиться в доме, и с удобным креслом, в котором, впрочем, она редко сидела — неутомимая хлопотунья.

Белая девическая комната Марии Павловны, с цветами и узкой белой кроватью, с огромным портретом брата, занимавшим самое главное место как в комнате, так и в ее сердце. Гостиная с пианино и террасой в сад...

Наконец — кабинет А. П. — с этими светлыми, как его взгляд на мир, окнами, с книгами, письменным столом, на котором, кроме исписанных его причудливым,

но разборчивым почерком страниц последнего рассказа, лежали планы, чертежи и сметы больниц, школ, построек серпуховского земства, — с этюдами Левитана и покойного Н. П. Чехова — талантливого художника — на стенах.

У Чеховых поражало меня всегда: откуда у этой семьи, начавшей жизнь в провинции, в мещанской обстановке, в бедности, явился такой огромный вкус и такое благородство и изящество? Ни одной вещи не было, которая резала бы глаз, ничего показного: какое-то внутреннее достоинство чувствовалось в доме и обстановке Чеховых — как и в них самих. Я видела много «литераторских» квартир в Москве и в Петербурге. Обычно они были двух типов: или с поползновением на роскошь, с картинами, обитой шелком мебелью и купленными в антикварных магазинах «старинными» вещами — или же скудно убранные, с остатками селетки на столе и клеенчатой мебелью, из которой вылезала мочалка... Тут — везде чистота, порядок и ничего лишнего.

Я говорю о мелиховском доме — потому что его уже никто не увидит таким, каким он был. Дом в Ялте — чудом уцелевший — сохранился, и его можно видеть, но мелиховского дома уже нет, и нет уже почти никого из тех, кто бывал в нем.

Сам Чехов очень полюбил Мелихово. В мелиховской обстановке он совсем преобразался, и там я никогда не видела у него того рассеянного, отсутствующего взгляда, как в Москве. И в Мелихове — он уже был не зрителем, а активно действующим лицом. Пожалуй, самые светлые его годы связаны с Мелиховым. После тяжелого детства, лишений и скудости, беготни за трехрублевыми гонорарами, скитаний по дешевым квартиренкам — он вдруг ощутил, что у него есть свой дом, которого не надо менять, из которого не надо торопиться... Он писал о Мелихове:

«Тут все в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиной с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья — но пройдешь раз-другой, взглядишься и впечатление маленького исчезает: очень просторно...»⁷

Мне невольно приходит в голову аналогия с его маленькими рассказами: страница-две, а прочтешь раз-

другой, вдумаешься — и впечатление маленького исчезает, и какой простор мыслям, настроению, какая широкая картина русской жизни!

Я попадала в Мелихово обычно тогда, когда «гостей» не было. Летом я почти всегда скиталась по Европе. А как раз летом к Чеховым наезжало столько гостей, и званых и незваных, что иногда укладывать было негде, мать Чехова и Марья Павловна с ног сбивались, а А. П. сбегал в свой крохотный флигелек, чтобы работать без помехи. В этом флигельке, где в одной комнате еле-еле помещался письменный стол, а в спальне, которую А. П. называл своей «духовой печкой», — кровать, — он написал «Чайку».

Я не боялась распутицы и приезжала обыкновенно, когда в доме была только семья. Помню раз, когда я собралась туда в ноябре, Чехов предостерегал меня письмом:

«Я буду в восторге, если вы приедете к нам — но боюсь, как бы не вывихнулись Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли, и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце и я теперь уже не способен любить»⁸.

Но когда я не убоялась и приехала — он был очень рад, так как чувствовал, что я любила и его, и его семью, и весь их уклад.

Другой раз как-то мы ехали с Иваном Павловичем ранней весной на станцию из Мелихова десять верст около пяти часов. То саи провалятся и примерзнут, их надо вырубать, то лошади провалятся и примерзнут, их надо вытаскивать.

Мою «неустрашимость» ценили и принимали меня радостно и радушно. Когда в мои приезды А. П. не было дома, он писал сестре: «Таня обязана остаться и ждать меня. Иначе ей будет плохо»⁹. Обычно перед моими приездами он посылал мне реестры, чего надо привезти, вроде:

«Милая Таня, привезите две бутылки красного вина, Удельного, 1 ф. швейцарского сыру, одну вареную колбасу и одну копченую, и 1 ф. прованского масла. Обязательно привезнте, а то Вам же самим нечего будет

трескаться. Любящий Вас иеромонах Антоний. — Если довезете, то привезите 2 ф. сыру»¹⁰.

Или:

«Дорогая кума, возьмите у Келера на Никольской и привезите 2 ф. крахмалу самого лучшего, для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам. Там же взять полфунта прованского масла, подешевле — для гостей. А также побывайте на Арбате у портного Собакина и спросите у него, хорошо ли он шьет. Остаюсь любящий Вас Кум-мирошник, или Сатана в бочке»¹¹.

Безвыездно жили в доме старики, большей частью Мария Павловна и постоянно наезжали братья А. П. — Иван П. и Мих. П.

Старики были чудесные. Отец, Павел Егорович, высокий, крупный, благообразный старик, в свое время был крутенок и воспитывал детей по старинке, почти по Домострою — строго и взыскательно. Но ведь в его время широко было распространено понятие «любя наказуй», и строг он был с сыновьями не из-за жестокости характера, а, как он глубоко верил, ради их же пользы. Но в дни, когда я узнала его, он вполне признал главенство А. П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что, вот, он вел свои дела неудачно, не сумел обеспечить благосостояние своей семьи, а «Антоша» взял все в свои руки, и вот теперь, на старости лет, поддерживает их и угол им доставил — и оба они, и старик и старушка, считали главой дома «Антошу». Павел Егорович всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, несмотря на трогательно почтительную и шутиливую нежность, с которой молодые Чеховы с ним обращались: но в этой самой шутиливости, конечно, уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, бывшей когда-то довольно суровой. Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось.

Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, днем много работал в саду, а потом читал свои любимые «божественные книги» — огромные фолианты жития святых, «Правило веры» и пр. Он был очень богомолен: любил ездить в церковь, курил в доме под праздник ладаном, соблюдал все обряды, а у себя в келье

отправлял один вечерню и всенощную, вполголоса читая и напевая псалмы. Помню, часто — когда я проходила зимним вечером мимо его комнаты в отведенную мне, я слышала тихое пение церковных напевов из-за дверей, и какой-то особенный покой это придавало наступлению ночи...

Ко мне он благоволил. Я всегда любила стариков и старушек, часто, в годы юности, именно их делала героями своих рассказов, чувствуя всю невысказанную патетику старости и близкого ухода... И мне никогда не было скучно слушать стариковские рассказы и поучения, поэтому П. Е. охотно принимал меня у себя в келье, давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был — прямо ангельский... а вот теперь — отстал, не поет — что бы съездить в церковь да попеть?

Милый Павел Егорович! Когда он заболел и скончался¹² — в отсутствие сына, — я никогда не забуду, как убивалась и плакала кроткая Евг. Як. и все повторяла беспомощно, с характерным южным придыханием на букву г:

— Голубчик мой, а сливы-то я намариновала — так он их любил, и не попробует голубчик мой!

И было в этой бесхитростной «чеховской» фразе столько любви и жалости, и заботы прожитой вместе жизни, сколько не уместилось бы в длинной, пышной речи.

Я никогда не видела, чтобы Е. Я. сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла... Она была великая мастерица на всякие соления и варенья, и угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как бы вознаграждала себя за скудость былой жизни: и прежде, когда у самих не было почти ничего — если случалось наварить довольно картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить. А теперь — когда появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска — она попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая старосветская помещица, с той разницей, что все делала своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше всех.

Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием:

— А вдруг детка проголодается?..

И у нее в ее комнатке я любила сидеть и слушать ее воспоминания. Большей частью они сводились к «Антоше».

С умилением она рассказывала мне о той, для нее незабвенной минуте, когда Антоша — тогда еще совсем молоденький студентик — пришел и сказал ей:

— Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу!

(До этого за нее платили какие-то благожелатели.)

— С этого времени у нас все и пошло... — говорила старушка. — А он — первым делом, — чтобы все самому платить и добывать на всех... А у самого глаза так и блестят — «сам, говорит, мамаша, буду платить».

И когда она рассказывала мне это — у нее самой блестели глаза, и от улыбки в уголках собирались лучи-морщинки, делавшие чеховскую улыбку такой обаятельной. Она передала эту улыбку и А. П. и М. П.

М. П. занималась всем по имению и особенно огородом. Хрупкая, нежная девушка с утра надевала толстые мужские сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо сияли ее лучистые глаза, и целые дни пропадала то в поле, то на гумне, стараясь, где возможно, уберечь Антошу от лишней работы.

Такой дружбы между братом и сестрой, как между А. П. и М. П., или Ма-Па, как он звал ее, мне видеть не приходилось. Маша не вышла замуж и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушать течения жизни А. П. Она имела все права на личное счастье, но отказывала всем, уверенная, что А. П. никогда не женится. Он действительно не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится, и женился поздно — когда уже трудно было предположить, что он на это пойдет по состоянию его здоровья. М. П. так и осталась в девушках и всю жизнь свою посвятила после его смерти

хранению музея его памяти в Ялте, устроенного в их бывшем доме.

Из братьев старший, Иван Павлович, был тихий, серьезный человек с головой Христа. Нас с ним связывали хорошие личные отношения, я у него работала в народной читальне в Москве, урывая для этого дни от московской перегрузки. А младший, Михаил, был веселый, остроумный человек, обладавший всевозможными дарованиями — мастер на все руки. Он и писал — рассказы, пьески — но ни одной минуты не завидовал славе брата и спокойно нес свою литературную «неизвестность». С ним мы в Москве веселились, справляли «Татьяну» и т. п. Впоследствии он издавал журнал «Золотое детство», который целиком писал сам, причем дети его выдумывали ребусы и шарады, жена делала «приложения» в виде выкроек для кукол и т. п. Дружба наша не прекращалась до конца его жизни.

Жизнь в Мелихове шла мирно и тихо. Все свободное от работы и занятий время А. П. проводил в саду. Он сам сажал, высевал, обмазывал яблони чем-то белым, подрезал розы и гордился своим садом. Писал: «...Да, в деревне теперь хорошо. Не только хорошо, но даже изумительно. Весна настоящая, деревья распускаются, жарко. Поют соловьи и кричат на разные голоса лягушки. У меня ни гроша, но я рассуждаю так: богат не тот, у кого много денег, а тот, кто имеет средства жить теперь в роскошной обстановке, которую дает ранняя весна»¹³. И каждый розовый куст, каждый цветок, который он сам сажал, — пробуждал в нем действительность, отмечался им и казался ему богатством. Каждую аллею, каждое дерево показывал он в особом освещении:

«Вот эти стволы особенно хороши на закате, когда стволы совсем красные... А Мамврийский дуб (так он прозвал дуб, старый и ветвистый, оставшийся от старого сада) надо смотреть в сумерки — он таинственный тогда такой...» С какой гордостью он показывал мне, бывало, каждый новый розовый куст, каждый тюльпан, расцветающий весной, и говорил, что для него нет больше удовольствия, чем следить, «как он лезет из земли, как старается» — и потом пышно расцветет. Я редко встречала мужчин, — кроме разве садоводов, которые

так любили бы и знали цветы, как А. П. Ему даже не странно было дарить цветы, хотя это было не принято по отношению к мужчинам. Но я помню, как, когда он уезжал за границу, как-то мне захотелось ему привезти цветов на дорогу, и я подарила ему букет бледнолиловых гиацинтов и лимонно-желтых тюльпанов, сочетание которых ему очень понравилось. На одной из книг, — томик пьес, который он подарил мне, — стоит шутивая надпись: «Тюльпану души моей и гиацинту моего сердца, милой Т. Л.» — и наверно, когда он делал эту надпись, перед его глазами встала Москва, первая капель, мартовский ветер, обещающий весну... и наша веселая компания, приехавшая на Курский вокзал проводить его и чокнуться стаканами вина, пожелав счастливого пути... Когда Чехов писал о цветах — он находил свои слова. Фраза, которую он вкладывает в уста Сарры в «Иванове», просится в стих:

Цветы повторяются каждую весну —
А радости — нет...

А слова Нины в «Чайке» — о «чувствах, похожих на нежные изящные цветы...»

Когда он уезжал от своих цветов — он заботился о них, как об оставленных детях. Он писал сестре уже в марте:

«Около лилий и тюльпанов поставь палочки, а то их растопчут. У нас две лилии: одна — против твоих окон, другая — около белой розы, по дороге к нарциссам»¹⁴. Какой очаровательный адрес! Или: «До моего приезда не обрезайте розы. Срежьте лишь те стебли, которые замерзли зимой или очень больны — но осторожно: имей в виду, что больные иногда выздоравливают»¹⁵. Такими и подобными указаниями и поручениями полны его письма.

В общем, близость природы была ему всего нужней. В природе он становился самим собой. Не могу сказать, чтобы места около Мелихова были особенно красивы: но большая, чисто русская прелесть была в просторе полей, в темносиней полосе леса на горизонте, в алых закатах, ложившихся на полосы сжатого хлеба. И когда мы сидели на его любимой завалинке перед воротами,

смотревшей прямо в поле, глаза А. П. утрачивали свойственную ему грусть и были ясны и спокойны.

«Гдушь, тишина, лоси...» — писал он об этих местах и ценил их. Соседство деревни не мешало ему. С крестьянами отношения сразу установились самые хорошие.

Чехов никогда не говорил громких фраз о «служении народу», о «любви к меньшому брату», на что так щедрны были либеральные кружки того времени, толковавшие об этих вопросах за стаканом красного вина или за бокалом шампанского. Но — выражаясь тем высоким слогом, которого он не любил и от которого всегда предостерегал — вся жизнь его была именно этим служением народу.

Безо всяких высоких слов Чехов так писал о патриотизме:

«Хорош белый свет — одно только не хорошо: *мы*. Как мало в нас справедливости! Как плохо мы понимаем патриотизм! Пьяный, истасканный, забулдыгамуж любит свою жену и детей — но что толку в этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу родину — но в чем выражается эта любовь! Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет...

...Работать надо — а все остальное к чорту! Главное — быть справедливым, а все остальное приложится»¹⁶.

И он работал — и был справедлив. Справедливость его не щадила и личных отношений. Он не разглагольствовал о своих политических убеждениях, но когда, например, всколыхнуло всю Европу дело Дрейфуса — он, стоявший, понятно, на его стороне, — порвал многолетние отношения с стариком Сувориным, которому его и его газеты позиции в этом деле простить не мог.

А как он работал — об этом надо сказать отдельно. Начать с медицины, о которой он шутя говорил, что это «его законная жена, тогда как литература — любовница»¹⁷.

Еще студентом-медиком он уже лечил и практиковал. Покойный В. Я. Зеленин, зять артистки Ермоловой — впоследствии сам видный доктор, — рассказывал мне, как его, тогда еще гимназиста последних классов,

жившего с Чеховым в одних и тех же меблированных комнатах, А. П. лечил и вылечил от тяжелого тифа. Каждое лето, куда он ни попадал, он или лечил крестьян, или работал в местных больницах, безвозмездно, не упуская случая пополнить свое медицинское образование. Когда он попал в Мелихово, слава его, как врача, разнеслась на всю округу. Он никому не отказывал в совете. Любопытное совпадение: когда после окончания гимназии в Киеве я вернулась в родную Москву, приблизительно за год до того, как я познакомилась с семьей Чеховых, я отправилась навестить мою бывшую кормилицу, жившую в деревне близ станции Лопасня. Она оказалась больна, как тогда говорили, чахоткою. Я очень встревожилась и стала допрашивать, есть ли там доктор, есть ли у него лекарства, и она ответила мне:

— Не бойся, родимая, дохтур у нас тут такой, что и в Москве не сыщешь лучше. Верст за шесть живет. Антон Павлович. Уж такой желанный, такой желанный — он и лекарства мне все сам дает.

Только позже, познакомившись с Чеховыми и попав в Мелихово, я поняла, кто был этот «желанный» Антон Павлович... В Мелихове он отдавал очень много времени своим даровым пациентам. Нам казалось совершенно естественным, что иной раз, когда мы только что собирались в столовую к чаю, А. П. уже возвращался откуда-нибудь — иной раз от больного, к которому вызывали ночью, и, торопливо выпив чаю, уходил работать. Или в ужасную погоду одевался и уходил, несмотря на тревожные восклицания Евг. Як.: — Антоша, куда ты — подожди, пока утихнет! — и отвечал ей на ходу:

— Дисентерия не будет ждать, мамаша!

Он не только лечил, но и снабжал своих пациентов лекарствами, тратя на это значительные для него по тому времени деньги.

Известность его как врача быстро росла, скоро его выбрали в члены серпуховского санитарного совета. Тем временем на Россию надвинулась холера. Ему, как врачу и члену совета, предложили взять на себя заведывание санитарным участком. Он тотчас же согласился и, конечно, безвозмездно. У земства было мало средств, и А. П. взялся собирать их. Он стал объезжать сосед-

них фабрикантов и помещиков и убеждать их давать средства на борьбу с холерой. Не мало типов он перевидал тогда — от местных толстосумов до изящнейшей помещицы-графини, с тысячными бриллиантами в ушах, один вид которых в нем возбуждал желание «нагробить ей по-семинарски», как он признавался. Много отразилось потом в его рассказах. И добился он многого: на фабриках строили бараки, везде заготавливали инвентарь...

— Я, верю, был бы очень хорошим нищим, — говорил он, — столько удалось выпросить!

Он гордился тем, что земству все приготовления не обошлись ни копейки — все было «выпрошено у обывателя».

В результате в его ведении был участок в двадцать пять деревень, четыре фабрики и один монастырь — и со всем этим он управлялся один, с помощью фельдшера, который, как он жаловался, без него не мог сделать ни шагу и «считал его начальством».

Он разъезжал по деревням, принимал больных, читал лекции, как бороться с холерой, сердился, убеждал, горел этим — и писал друзьям: «Пока я служу в земстве — не считайте меня литератором». Но, конечно, не писать он не мог. Он возвращался домой измученный, с головной болью, но держал себя так, будто делал пустяки, дома всех смешил — и ночью не мог спать или просыпался от кошмаров.

Когда приходилось — он и меня лечил. У меня хранится рецепт его... Все его врачебные советы были необычайно просты и разумны. Он следил за всеми новыми достижениями медицины, они увлекали его. Высоко ставил доктора Хавкина, боровшегося с чумой, возмущаясь тем, что у нас его никто не знает, тогда как вся Европа оценила его¹⁸.

Не раз он говорил мне: «Изучайте медицину, дружок, — если хотите быть настоящей писательницей. Особенно психиатрию. Мне это много помогло и предохранило от ошибок».

Часто в Москве в то время мне приходилось слышать: «Чехов не общественный деятель». Но это было более чем близоруко. Его все возрастающая литературная слава как-то заслоняла от публики его обществен-

ную деятельность, а кроме того, он сам никогда не распространялся о ней. Но это было глубоко неверно.

Я не могу в беглом очерке подробно останавливаться на всем, что делал А. П., но хочу все же вспомнить некоторые полосы его жизни.

В 1890-м году он по доброй воле и на свои более чем скромные средства отправился на Сахалин. Вопрос каторги мучил его. «Ее надо видеть, непременно видеть, изучать самому, — говорил он. — Сахалин не может быть не нужен для того общества, которое ссылает туда тысячи людей и тратит на него миллионы»¹⁹.

Он пробыл на Сахалине два месяца и имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения — сам, единолично. объездил все поселения, заходил во все избы, говорил с каждым. Употребляя карточную систему, записал больше десяти тысяч поселенцев. Мой почтенный друг А. Ф. Кони²⁰ говорил мне, что книга эта произвела на него потрясающее впечатление как своим фактическим материалом, так и тем страстным, негодующим отношением к ужасам Сахалина, которое чувствуется в этой книге. В результате на Сахалин было обращено внимание: там начали строить приюты, ясли, школы и т. д. — а главное — была отменена система наказания плетью, потрясшая Чехова до того, что он и после часто видел во сне эти ужасные сцены и просыпался в холодном поту.

Дальше: в 1892 году в России был голод. Многие губернии были объявлены «пострадавшими от неурожая» — официальное название голода. Особенно пострадали губернии Нижегородская и Воронежская. У Чехова был приятель в нижегородском земстве. А. П. организовал широкую подписку и в суровую зиму отправился туда²¹. Там он устраивал столовые, кормил крестьян, делал что только мог. Между прочим: голодавшее население или продавало за бесценок скот, который нечем было кормить, или убивало его, тем самым обрекая себя еще на голодный год. Чехов организовал скупку лошадей на местах и прокорм их на общественный счет с тем, чтобы весной раздать безлошадным крестьянам.

Живя в Мелихове, он все время выискивал, что бы сделать для крестьян. Его выбрали в земские гласные

серпуховского земства, и он очень серьезно относился к своим обязанностям. Ушел с головой в вопросы народного образования и здравоохранения. Ему обязаны школами Талеж, Новоселки и Мелнхово. Он сам наблюдал за стройкой, закупал материалы, делал сметы и чертежи. Принимал деятельное участие в постройке земской больницы, добился проведения шоссе от Лопасни до Мелихова, строил в деревнях пожарные сараи и пр.

Но своим уездом он своей деятельности не ограничивал. Он, можно сказать, явился основоположником библиотеки в своем родном городе Таганроге. Начал с того, что всю свою большую прекрасную библиотеку, собранную за многие годы, пожертвовал городу, оставив себе только книги для личного употребления. Не удовлетвовавшись этим, вошел в контакт с таганрогским городским головою Иордановым и взял на себя постоянное пополнение библиотеки. Скоро она стала одной из лучших в провинции; он отправлял туда целые транспорты книг, как купленных им на свои средства, так и «выпрошенных» у знакомых авторов, издателей и редакторов. По его мысли, стало формироваться при библиотеке нечто вроде справочного бюро, где каждый мог бы найти ответ на все вопросы — начиная от распоряжений правительства и кончая новостями искусства, — широко помогая читателю в любых отраслях знания, истории, медицины и пр. Но тут же он писал Иорданову: «Только никому не говорите о моем участии в делах библиотеки: не люблю, когда треплют мое имя»²².

Интересовался он и таганрогским музеем, подавал советы относительно «его устройства и пополнения», а будучи в Парнже, специально познакомился с знаменитым скульптором Антокольским, чтобы заказать ему статую Петра I для постановки памятника в Таганроге, и сам выбирал место для этого памятника.

Несмотря на эту кипучую деятельность, он в Мелихове написал многое из самых значительных своих произведений. Тут, например, он написал: «Соседи», «Палата № 6», «Мужики», «Рассказ неизвестного человека», «Бабы царство», «Черный монах», «Володя большой и Володя маленький», «Три года», «Ариадна», «Дом с мезонином», наконец «Чайка» и пр. и пр.

Писал он, запершись у себя, а наработавшись, выходил в хорошем расположении духа, с обычной шуткой для каждого. О том, что пишет, говорил мало. Так разве скупой поделится названием того рассказа, который пишет в это время, и содержанием в двух словах: «Пишу о докторе, который галлюцинирует...» Или вынет свою записную книжку и прочтет какое-нибудь поразившее его название станции или имя вроде «Розалия Аромат». Какую-нибудь черточку (как у Тригорина: «Гелиотроп, приторный запах, вдовый цвет — упомянуть при описании летнего вечера») или услышанную на пароходе фразу (позже попавшую в «Ариадну»): «Жан, твою птичку укачало...» и прибавив серьезно:

— Вот, кума, когда я выдам вас замуж за Е-ва, вам так надо будет с мужем разговаривать...

Кумой А. П. стал звать меня после того, как мы с ним крестили дочку у его соседа Шаховского. Он при этом уверял меня, что нарочно со мной крестил, а то я непременно заставила бы его жениться на мне. (В то время браки между кумовьями были запрещены.) И объяснял, что нам никак нельзя жениться — потому что он писатель, а я писательница, и мы «непременно стали бы грызться».

Он вообще очень дразнил меня, но поддразнивание его было так добродушно, что обижаться на него нельзя было, и я первая от души смеялась, особенно так как знала, что А. П. дразнит только тех, к кому он относится хорошо. Больше меня он дразнил, кажется, только Лику.

Он поставил у себя на камине мой портрет в балльном платье и с веером и на нем написал: «Lisez Schepkin-Coupernic!» («Читайте Щепкину-Куперник!») — в подражание А. И. Урусову, знаменитому адвокату и литературному критику, который так обожал Флобера, что когда у него попросили для благотворительного сборника автограф — написал по-французски под своим портретом: «Lisez Flaubert!» («Читайте Флобера!»).

Звал меня «великая писательница земли русской», «маститый беллетрист» и т. п. Еще прозвал он меня «Татьяна Е-ва» — по фамилии одного из своих знакомых журналистов, кажется, очень невзрачного на вид (я так

никогда его и не видала), и грозил выдать за него замуж.

Один из любимых его рассказов был такой: как он, А. П., будет «директором императорских театров» и будет сидеть, развалившись в креслах «не хуже вашего превосходительства». И вот, курьер доложит ему: «Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли! (вот как у нас бабы с прибами к Маше ходят)».

— Ну, пусти! — И вдруг — входите вы, кума. И прямо мне в пояс. — Кто такая? — «Татьяна Е-ва-с!» — А! Татьяна Е-ва! Старая знакомая! Ну так уж и быть: по старому знакомству приму вашу пьесу.

Как-то раз А. П. затеял писать со мной вдвоем одноактную пьесу и написал мне для нее первый длинный монолог. Пьеса должна была называться «День писательницы». Монолог заключал множество шуток в мой огород и начинался так:

— Я — писательница! Не верите? Посмотрите на эти руки: это руки честной труженицы. Вот — даже чернильное пятно! (У меня всегда было чернильное пятно на третьем пальце — пишущей машинкой я еще не пользовалась...)

Почему-то я запомнила это начало, запомнила, как писательница, изнемогающая от суеты, поклонников и работы, мечтает уехать в деревню: «Чтобы был сиег... тишина... вдаль собаки лают — и кто-то на гармошке играет — а-ля какой-нибудь Чехов...»

Я не успела дописать свою часть, как эта тетрадка у меня куда-то пропала, а с ней и писанный чеховской рукой монолог. Тогда я даже не пожалела об этом — как-то не думалось, что придет время, когда каждую написанную им строку будут собирать и прятать бережно: а был он просто милый А. П., шутивший со мной так весело...

Помню — раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:

— Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва сердца!

— Бог с вами! — изумилась я. — Какой же это будет водевиль?

— А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся — и вдруг — хлоп! Конец!

Конечно, он этого «водевиля» не написал.

Самая его жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили «по наивному», как его называл Чехов, двору — голуби кофейного цвета с белым, так называемые египетские, и совершенно такой же расцветки кошка. А. П. уверил меня, что эти голуби произошли от скрещенной этой кошки с обыкновенным серым голубем.

В то время в гимназии естественной истории не преподавали, и я в ней была совершенный профан. Хотя это и показалось мне странным, но не поверить такому авторитету, как А. П., я не решилась, и, возвратясь в Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских голубях. Легко себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах и как долго я стыдилась своего невежества.

Самыми веселыми часами в Мелихове были трапезы, к которым А. П. выходил всегда в хорошем расположении духа, приветливый и ласковый. Он не выносил на люди ни своих бессонных ночей, ни сосредоточенности творческих часов. Шутил, смеялся и был радушным хозяином. Звал обедающих «к мутному источнику» — это выражение вошло в обиход и имеет свою историю. Как-то Павел Ег. ездил со мной в воскресенье в церковь; деревенский батюшка говорил крестьянам проповедь, которая очень понравилась ему; вернувшись, он сказал:

— Вот, Антон, ты никогда в церковь не ходишь, а какую батюшка хорошую проповедь сказал — приятно было слушать!

А. П. серьезно, но со смеющимися глазами попросил меня рассказать ему содержание проповеди — «что в ней так понравилось папаше?»

Проповедь гласила приблизительно следующее: «Что бы вы сказали, — обращаясь батюшка к прихожанам, — если бы вы увидели путника, томимого жаждой, и рядом с ним два источника — один прозрачно чистый, другой же мутный и загрязненный, и вдруг путник для утоления жажды пренебрегает чистым источником и уто-

ляет свою жажду из мутного? Вы бы назвали его неразумным! Но не то же ли самое делаете и вы, когда в праздничный отдых свой, вместо того чтобы идти к чистому источнику церковной службы, душеспасительного чтения — отправляетесь в кабак и там напиваетесь?..» и т. д. (Это было еще до введения государственной монополии на водку — и такие проповеди поощрялись, тогда как впоследствии они были запрещены...)

А. П. выслушал и, почтительно похвалив проповедь, сказал:

— Ну, а теперь пойдемте к мутному источнику, ибо по берегам его растут великолепные соленые грузди!

С тех пор выражение это и получило право гражданства.

После обеда обыкновенно начиналась игра с собаками. В доме жили две таксы, любимицы А. П.: коричневая Хина Марковна, которую он звал страдальцей (так она разжирела) и уговаривал «лечь в больницу»: «Там-ба-б вам-ба-б полегчало ба-б!» — и Бром Исач, о котором А. П. говорил, что у него глаза Левитана: и действительно, у него были скорбные, темные-темные глаза.

Любимая игра была дразнить собак моим собольком, которого я носила на шее. Собаки сходили с ума и лаяли, прыгая кругом него. Мне надоел шум, да я и боялась за судьбу моего соболька, и я спрятала его. После этого стало меня удивлять, что собаки так же яростию лаяли, как только А. П. укажет им на сигарную коробку, стоящую на камине. Так и заливаются, так и рвутся к коробке! Оказалось, что А. П. потихоньку стащил моего соболька из комода и спрятал его в эту коробку.

Шутки иногда сменялись и серьезными разговорами. А. П. делал мне кое-какие указания — так деликатно; он умел к чужому, даже самому скромному творчеству подходить с интересом и глубоким внутренним сочувствием. Как-то, помню, по поводу одной моей повести он сказал мне:

— Все хорошо, художественно. Но вот, например, у вас сказано: «и она готова была благодарить судьбу, бедная девочка, за испытание, посланное ей». А надо, чтобы читатель, прочитав, что она за испытание благо-

дарит судьбу, сам сказал бы: «бедная девочка»... или у вас: «трогательно было видеть эту картину» (как швея ухаживает за больной девушкой). А надо, чтобы читатель сам сказал бы: «какая трогательная картина...» Вообще: любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух!

Особенно советовал мне А. П. отделяться от «готовых слов» и штампов, вроде: «ночь тихо спускалась на землю», «причудливые очертания гор», «ледяные объятия тоски» и пр. И шутливо угрожал мне, что если в моих стихах встретятся «звездочки» или «цветочки», то он выдаст меня замуж за Е-ва.

Даже когда А. П. хвалил меня, то большей частью делал это под соусом шутки. Говорил, например, что какие-то мои стихи так хороши, что я несомненно списала их в старом журнале. Или писал: «Сегодня, в 9 часов утра, сидя в холодной классной комнате на Басманной, я прочел ваше «Одиночество» и простил вам все ваши прегрешения. Рассказ положительно хорош, и нет сомнения, вы умны и бесконечно хитры. Меня всего больше тронула художественность рассказа. Впрочем, вы ничего не понимаете»²³.

Правда, иногда и серьезно писал мне: «Говорят, что ваша повесть будет напечатана в «Неделе» (речь шла о моей повести «Счастье»). Радуюсь за вас и от души поздравляю: «Неделя» — солидный и симпатичный журнал. До свидания, милый дружок»²⁴.

Я очень ценила его добрые отзывы. Между прочим, мне не приходилось видеть писателя, который бы так тепло и с такой добротой относился к своим молодым собратьям, как Чехов. Он постоянно за кого-то хлопотал по редакциям, чьи-то вещи устраивал и искренно радовался, когда находил что-нибудь казавшееся ему талантливым. Достаточно вспомнить его отношение к молодому Горькому, вспомнить его письма к последнему, чтобы показать, как чуждо было Чехову какое-либо чувство профессиональной зависти. Устами своего Тригорина («Чайка») он говорит: «К чему толкаться? Всем места хватит!» И он не только не толкался, но всегда с готовностью протягивал руку помощи младшему товарищу. Он где-то сказал: «Человек должен быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически»²⁵.

Это был его принцип, и ему он следовал неукоснительно, как и вся его семья.

В Мелихове Чехов написал свою «Чайку» и в том же году²⁶ читал ее у Л. Б. Яворской, в памятной сиейе гостиной. С Яворской у Чехова были двойственные отношения. Она ему то нравилась, то не нравилась, и безусловно интересовала его как женщина. Он первый ее рекомендовал Суворину, в театр которого она впоследствии перешла от Корша, — смотрел пьесы с ее участием. Той простоты в отношениях, как между нами с ним, — с ней у него не было. Шел в некотором роде флирт. Я помню, как она тогда играла индусскую драму «Васантасена», где героиня с голубыми цветами лотоса за ушами становится на колени перед своим избранником и говорит ему: «Единственный, непостижимый, дивный...» И когда А. П. приезжал и входил в синюю гостиную, Л. Б. принимала позу индусской героини, кидалась на ковре на колени и, протягивая к нему тонкие руки, восклицала: «Единственный, великий, дивный...» и т. п. Отголоски этого я нашла потом в «Чайке», где Аркадина становится на колени перед Тригориним и называет его единственным, великим и т. п. Отразились в «Чайке» и роли ее — «Дама с камелиями», «Чад жизни»... Но дальше поверхностного сходства не пошло.

На чтение собралось много народу, обычная наша профессорско-литературная компания. Был и Корш²⁷, считавший Чехова «своим автором», так как у него была поставлена первая пьеса Чехова «Иванов». И он, и Яворская очень ждали новой пьесы Чехова и рассчитывали на «лакомый кусок». Я помню то впечатление, которое пьеса произвела. Его можно сравнить с реакцией Аркадиной на пьесу Тrepлева: «Декадентство»... «Новые формы?» Пьеса удивила своей новизной и тем, кто, как Корш и Яворская, признавали только эффектные драмы Сарду и Дюма и пр., — понравиться, конечно, не могла, как впоследствии не понравилась и толстосумной публике левкоевского бенефиса²⁸ в Петербурге... Помню спор, шум, неискреннее восхищение Лидии, удивление Корша: «Голуба, это же не сценно: вы заставляете человека застрелиться за сценой и даже не даете ему поговорить перед смертью!» и т. п. Помню я и какое-то не то смущенное, не то суровое лицо Чехова. Эту пьесу,

конечно, понял и показал нам по-настоящему только Художественный театр несколько лет спустя²⁹.

Мое впечатление тоже было смутным. Уже первые фразы монолога Нины, помню, произвели сильное впечатление... «словом, все жизни, все жизни, все жизни — свершив печальный круг — угасли». У меня сжало горло, и мне на минуту показалось, что в синей гостиной повеял откуда-то издали ветер...

Монолог взволновал меня, а многие увидали в нем только «насмешку над новой литературой...» Мне казалось, что пьеса потому нравится мне, что я пристрастна к А. П. Кроме того, я не могла отнестись к этой пьесе объективно. Смущали рассыпанные в ней черточки, взятые им с натуры: фраза Яворской, привычка Маши нюхать табак и «пропускать рюмочку», списанная с нашей общей знакомой, молодой девушки, у которой была эта привычка. А главное, мне все время казалось, что судьба Нины совпадает с судьбой одной близкой мне девушки, близкой и А. П., которая в то время переживала тяжелый и печальный роман с одним писателем, и меня больше всего смущала мысль: неужели судьба ее сложится так же печально, как у бедной Чайки?

К слову сказать: часто замечала я, что писатели — в том числе и Чехов — иногда, заинтересовавшись каким-нибудь «типажем», дают его портрет, но ставят его в абсолютную вымышленную обстановку и условия, заставляют переживать воображенные писателем события... И очень часто бывает, — сила интуиции так велика, — что эти типажи потом попадают в аналогичные с героями рассказа условия. Так было и с этой девушкой. Ее бросил писатель, ребенок ее умер... Но все это случилось года через три после написания «Чайки».

На почве такой интуиции произошла неприятная и много крови испортившая Чехову история у него с Левитаном. Левитан был большим другом Чехова. И вдруг между ними вспыхнула ссора, настоящая, серьезная — вспыхнула она из-за С. П. Кувшинниковой. Дело было так: Чехов написал один из лучших своих рассказов «Попрыгунья», на который несомненно его натолкнуло что-то из жизни С. П. Только писатель может понять, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творчества.

С наивностью художника, берущего краски, какие ему нужно и где только можно, Чехов взял только черточки из внешней обстановки С. П. — ее «русскую» столовую, отделанную серпами и полотенцами, ее молчаливого мужа, занимавшегося хозяйством и приглашавшего к ужину, ее дружбу с художниками. Он сделал свою героиню очаровательной блондинкой, а мужа ее талантливым молодым ученым. Но она узнала себя — и обиделась. А. П. писал по этому поводу одной из своих корреспонденток:

«Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуньи» и меня вся Москва обвиняет в пасквиле.

Главная улика—внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником...»³⁰

Левитан, тоже «узнавший себя» в художнике, также обиделся, хотя в сущности уж для него-то ничего обидного не было и уж за одну несравненную талантливость рассказа надо было «простить автору все прегрешения». Но вступились друзья-приятели, пошли возмущения, негодования, разрасталась тяжелая история, и друзья больше года не виделись и не разговаривали, оба от этого в глубине души страдая.

А у С. П. несомненно Чехов наступил на какое-то больное место: никто не знал, что в их отношениях с Левитаном уже есть трещина, которая и привела к полному разрыву — опять-таки года через два-три после написания рассказа...

Как раз в это время, когда бедная С. П. уже дочитала последние страницы своего романа, как говорил ее оригинальный муж, я зимой собралась в Мелихово и по дороге заехала к Левитану, обещавшему показать мне этюды, написанные им летом на Удомле, где мы вместе жили. У Левитана была красивая в коричневых тонах мастерская, отделанная для него Морозовым в особняке на одном из бульваров. Левитан встретил меня, похожий на веласкесовский портрет в своей бархатной блузе; я была нагружена разными покупками, как всегда, когда ехала в Мелихово. Когда Левитан узнал, куда я еду, он стал по своей привычке длительно вздыхать и говорить, как тяжел ему этот глупый разрыв и как бы ему хотелось туда попрежнему поехать.

— Зачем же дело стало? — говорю с энергией и стремительностью молодости. — Раз хочется — так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас!

— Как? Сейчас? Так вот и ехать?

— Так вот и ехать, только руки вымыть! (Он был весь в красках.)

— А вдруг это будет не кстати? Вдруг он не поймет?

— Беру на себя, что будет кстати! — безапелляционно решила я.

Левитан заволновался, зажегся — и вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов мы уже подъезжали к мелиховскому дому.

Всю дорогу Левитан волновался, протяжно вздыхал и с волнением говорил:

— Танечка, а вдруг (он очень приятно грассировал) мы глупость делаем?

Я его успокаивала, но его волнение заражало и меня, и у меня невольно стало сердце екать: а вдруг я подведу его под неприятную минуту? Хотя, с другой стороны, зная А. П., уверена была, что этого не будет.

И вот мы подъехали к дому, залаяли собаки, выбежала на крыльцо Маша, вышел закутанный А. П., в сумерках взгляделся — кто со мной? Маленькая пауза — потом крепкое рукопожатие... и заговорили о самых обыкновенных вещах, о дороге, о погоде — точно ничего и не случилось.

Это было началом возобновления дружеских отношений, не прерывавшихся уже до смерти Левитана, которого А. П. и навещал и лечил.

Но историю с Кувшинниковой Чехов очень не любил. Постоянно поддразнивал ею Лику, сохранявшую с С. П. хорошие отношения, а мне как-то написал по поводу одного моего рассказа: «А все-таки вы не удержались и на стр. 180 описали-таки С. П.»³¹ Он напрасно поддразнивал меня этим: в том рассказе я ее не описывала. Много лет спустя, когда ни ее, ни Левитана, ни д-ра Кувшинникова уже не было в живых, я действительно описала их историю в рассказе «Старшие», напечатанном в «Вестнике Европы».

Когда Чехов продал Мелихово³² и окончательно переселился в Ялту, у меня точно оторвался кусочек

сердца. В это же время умерла моя кормилица, так что мне стало больше незачем ездить в Лопасню...

Продал он свое любимое Мелихово в связи с болезнью, заставлявшей его искать более теплого климата, и смертью старика отца. Он умер в 1898 году, внезапно. И после его смерти А. П. писал сестре: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни»³³. Так оно и было — и закрылись самые светлые страницы жизни А. П.

И так сложилось, что А. П. не был в Москве на первом представлении «Чайки». Может быть, даже сознательно не был — слишком больно отозвалось в его душе крушение «Чайки» в Петербурге. Он был в Ялте, в то время когда и Художественный театр и все его близкие переживали волнения в ожидании премьеры... Очень волновалась и я. Но с первых минут, с первых слов несравненных Маши — Лилиной и Медведенки — Тихомирова я просто забыла, что я в театре, что это пьеса, и чувствовала небывалое в театре ощущение: будто это не сцена и не актеры, а живая жизнь — и мы все случайно подсматриваем ее... Это впечатление разделяли и все зрители. После того знаменитого «гробового молчания», которое — когда опустили в последний раз занавес — длилось несколько секунд (а кто не знает, как беспощадно растягиваются секунды на сцене) и которое довело участников спектакля чуть не до отчаяния, так как они это молчание потрясенной публики приняли за провал, вдруг разразился ураган восторга. Даже тишайший Эфрос — критик и журналист — человек, необычайно сдержанный и задумчивый, «вышел из берегов»: вскочил на стул, кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму. С этой минуты театр победил его, как и всю Москву, за исключением очень немногих.

Выйдя из театра, я сейчас же послала А. П. телеграмму. Он откликнулся письмом:

«Милая кума, поздравляю вас с новым годом, желаю провести оный в добром здравии и благополучии, и дожидаться многих предбудущих. Телеграмму вашу получил и был тронут до глубины души. И письмо ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, при-

несшей мне вести о «Чайке», были вы, милая, незабвенная кума. Как вы поживаете? Когда пришлете мне вашу книжку стихов? Кстати — ваше стихотворение «Монастырь» — просто прелесть, одно великолепие. Очень, очень хорошо. Здесь, в Ялте, продолжается теплая погода, хочется снегу. Жму руку, будьте здоровы. Не забывайте вашего кума кучера Антона»³⁴.

Кстати сказать — стихотворение, о котором вспоминает А. П., было навеяно похоронами его отца в Ново-девичьем монастыре...

Всю зиму после премьеры «Чайки» я радовалась ее успеху. Она шла при переполненном театре, и часто я, возвращаясь домой поздним вечером мимо «Эрмитажа» в Каретном ряду, где тогда помещался Художественный театр, наблюдала картину, как вся площадь перед театром была запружена народом, конечно главным образом молодежью, студентами, курсистками, которые устраивались там на всю ночь — кто с комфортом, захватив складной стульчик, кто с книжкой у фонаря, кто, собираясь группами и устраивая танцы, чтобы согреться — жизнь кипела на площади — с тем, чтобы с раннего утра захватить билет и потом уже бежать на занятия, не смущаясь бессонной ночью. Грела и поддерживала молодость...

Художественный театр реабилитировал и заново создал «Чайку», но смело можно сказать, что и «Чайка» создала Художественный театр, во всяком случае все чеховские пьесы — это лучшее, что театр создал. Чехов даже преувеличивал роль Художественного театра в успехе своих пьес, и помню, когда я как-то сказала ему (речь шла о «Трех сестрах»), что в его пьесах поражает именно то, что, смотря их, как будто не в театре сидишь, а подсматриваешь чужую жизнь, он улыбнулся, прищулив глаза так, что кругом них собрались чеховские «лучики», и сказал:

— Это они так играют: они — хитрые...

Чехов звал меня в Ялту, но мои скитания уводили меня то за границу, то в Петербург, так в Ялту я и не попадала. Время от времени мы с А. П. обменивались письмами. Он писал в обычном шутовском тоне. То вдруг придет из-за границы счет из гостиницы с требованием от имени хозяина немедленно уплатить по

нему во избежание судебного преследования. То из Ялты, например, просил меня прислать ему пьесу:

«Любезная кума, окажите услугу, пришлите мне вашу пьесу «Вечность в мгновении», и поскорее, пожалуйста: хотим поставить ее, уплатив вам авторского гонорара один рубль. Афишу пришлю своевременно, а также и рецензию. (Тут тоже водятся рецензенты. Хорошо пишут!) Если почему-либо не можете прислать пьесу, поскорее уведоьте. Мой адрес — Ялта, д. Бушева. Кстати напишите, как делишки? Мне здесь скучно, как белуге. Не забывайте и иногда пишите. Вообще же поменьше о себе понимайте и почитайте старших. Ваш благодетель и кум Повсекакий. Пишите! Пробуду тут весь месяц. Где можно купить «Романтики»? Видите, как я забочусь о вашей славе. Как только заговорили о любительском спектакле — я тотчас же вам эстафету»³⁵.

В следующем письме он отвечал мне на мою просьбу разрешить играть в Малом театре его пьесу «Медведь», которую хотела ставить А. П. Щепкина.

«Милая кума, спешу ответить вам насчет «Медведя». Повторяю, я очень рад. Пишу — повторяю, потому что года два тому назад, по вашему произволению, я уже писал о своем согласии, и чуть ли кажется не подписал условия. Мой «Медведь» пойдет на Малом театре (или правильнее на сцене Малого театра) — для меня это только лестно.

Татьяна Е-ва-с, я накануне послал Вам открытое письмо, просил у Вас «Вечность в мгновении». Пришлите, пожалуйста. Я хочу прочесть лекцию «Об упадке драматического искусства в связи с вырождением» и мне придется прочесть отрывки из вашей пьесы и показать публике фотографии — вашу и артиста Г.». (Это был артист Горев, которого Чехов очень высоко ставил и справедливо считал его одним из лучших актеров Малого театра.)

«Да, вы правы: бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием — зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиза и магазин сжечь.

Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям — есть и бабы, с пьесами и без пьес: но все же скучно. Давит под сердцем, точно съел гро-

мадный горшок постных щей. Приезжайте, мы поедem обозреть окрестности. Еда тут хорошая. Ваш кум А. Чехов»³⁶.

Во всех письмах его от того времени, несмотря на шутиливый тон, сквозит та скука, даже тоска, которую он часто испытывал в Ялте. Он вообще не любил южной природы, находил ее бутафорской и скучал по московским сереньким дням, по левитановским пейзажам. Как-то после поездки в Аббацию он сказал мне: «Зелень там глянцовитая — точно металлическая. То ли дело наши березы и липы!» Заграничные путешествия не отозвались ни на его творчестве, ни на нем самом. Я часто думала, отчего это? И мне кажется, объяснение нашло. Чехов был писатель, которого страстно интересовала жизнь, интересовал человек. Чтобы писать, он должен был наблюдать жизнь и человека. За границей же это не могло быть ему доступно — по той простой причине, что Чехов не владел ни одним европейским языком — и таким образом его жизнь за границей превращалась для него во что-то вроде кинофильма: он, так сказать, чувствовал себя глухонемым: один пейзаж, да и тот «бутафорский», казавшийся ему слишком нарочито красивым, не удовлетворял его. Нарочитой красоты, красоты он не терпел, не любил ничего пафосного — и свои переживания, и своих героев целомудренно оберегал от красивых выражений, пафоса и художественных поз. В этом он, может быть, даже доходил до крайности, это заставляло его не воспринимать трагедии: между прочим, он никогда не чувствовал М. Н. Ермоловой³⁷, как и ей не был Чехов близок как писатель. Это были два полюса: реализм жизненный и реализм романтический. Те «высоты», на которых так вольно чувствовала себя великая артистка, отходя от жизни лишь затем, чтобы показать, какой жизнь *может быть*, были ему чужды, и он показывал жизнь такой, какой она *была*, предоставляя читателю или зрителю самому воскликнуть: «Так дальше жить нельзя!»

Я до сих пор не уверена, что А. П. отдавал себе отчет в том, какую роль он сыграет не только в русской, но и в зарубежной литературе, — как огромен его талант. Никакого самолюбования, никакого честолюбия — которых невозможно скрыть — я в нем никогда не чувствовала.

И однако он был писателем совершенно своеобразным, стоявшим особняком среди корифеев литературы. По-моему, самое существенное в Чехове — это раскрытие рассказа от власти сюжета, от традиционных «завязки и развязки». Чехову, для того чтобы перевернуть душу читателя, было достаточно взять кусок текущей жизни и своими словами описать его. Ему не нужны были ни драматические восклицания, ни убийства, ни восторги — но он как бы пояснял слова забытого старого поэта К. Случевского³⁸:

И капля вод полна трагедий,
И неизбежностей полна...

Щепкин³⁹ сказал: «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры». Чехов с полным правом мог бы сказать: «Нет маленьких явлений — есть маленькие писатели». Для него ни одно явление жизни не было маленьким: все было достойно наблюдения. Как говорится в гетевском «Фаусте», он «выхватывал из самой гущи жизни — и где бы ни схватил — там было интересно». Сквозь это маленькое явление он видел очень далеко и очень глубоко. Как сквозь маленькое стекло можно увидеть огромную панораму, так сквозь каждое маленькое явление мы видим у Чехова целый огромный кусок жизни. Чехова смущали малые размеры его вещей, он все собирался писать «большой роман» и уверял, улыбаясь одними глазами, что «завидует Потапенке»... (Писателю средней руки, но необыкновенно плодовитому.) Однако его маленькие рассказы стоят других многотомных произведений. Взять хотя бы «Даму с собачкой» — Тургеневу, например, хватило бы этой темы на целый роман. Чехов — уложил ее в несколько десятков страниц: но из этих страниц ясно видна и чувствуется не только личная драма двух или трех людей, но весь быт тогдашнего «интеллигентного» общества, задыхавшегося под толщей предрассудков, ложных понятий о приличии и т. д., которые часто губили жизни и души людей. А другие его рассказы — иногда на несколько страничек... Какая в них страстная жалость и любовь к своим героям — именно любовь, о которой он «не говорил вслух» и которую близорукие критики принимали за «объективность, доходящую до индифферентизма»...

Стоит наудачу вспомнить: рассказ «В ссылке», рассказ «Хористка», рассказ «Ванька», рассказ «Архиерей»... Один татарин из рассказа «В ссылке» стоит целого романа. Трагедия «Хористики» — обвинение, брошенное обществу за отношение к «падшим женщинам», трагедия «Ваньки» — не меньше диккенсовского романа вопиющая о судьбе брошенных в мастеровщину ребятишек, трагедия «Архиерея» — беспощадное одиночество человека, имеющего дело с толпами... Я назвала несколько, можно привести еще много — все это рассказы, написанные кровью сердца.

При жизни Чехова мне приходилось слышать от «обывателей» упреки, зачем он пишет о «скучных людях», о «скуке жизни»...

Вспоминаю высказанную Гончаровым мысль, которую он вкладывает в уста Райскому в «Обрыве»: «писать скуку». «Ведь жизнь многосторонняя и многообразная, и если эта широкая и голая, как степь, скука лежит в самой жизни — как лежат в природе безбрежные поля, пески — то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, кисти...» Гончаров в «широкой и голой степи» видел воплощение скуки. А вот Чехов написал «Степь», рассказ почти без содержания, без завязки и развязки, но как много увидел он в этой степи, какое богатство красок, наблюдений, впечатлений! Читая его, вы словно дышите ароматами степных трав, видите «пепельно-серые облака», несущиеся по бескрайнему небу, слышите трепет крыльев стрепета и простые речи простых людей — и не оторветесь от рассказа, пока не кончите его, а потом будете с новым наслаждением перечитывать его, как всегда с новым наслаждением смотришь на любимую картину природы. Вот так Чехов и в этой «людской скуке», о которой думал Гончаров, находил и умел оставить для нас такое же богатство мыслей, чувств, характеров, возможностей, как в своем рассказе о «широкой голой степи», красок и картин.

Есть одно свойство у Чехова, которое дает нам право считать его великим писателем. Мы читаем его всегда *по-новому*, и в его рассказах, перечитываемых из года в год, всегда находим для себя что-то новое, что-то, чего мы раньше не заметили и до чего мы «доросли». Мне недавно, например, пришлось

пережить такую минуту с «Чайкой». В первую постановку «Чайки», да и в последующие ее постановки на русской сцене, установилась традиция играть Нину в последнем акте в состоянии такой истерики, такого почти безумия, что у зрителя не оставалось ни минуты сомнения в ее близкой и неизбежной гибели — в пруду, под поездом, но непременно гибели. И вот недавно я слышала монолог «Чайки» в исполнении А. Коонен в Камерном театре, «в сукнах» — и вдруг поняла, что Нина не погибнет, не может погибнуть. Из самого текста чеховского поняла это. Она «верует в свое искусство, она научилась терпеть» — и крестный путь страдания, конечно, приведет ее к тому, что, как она и обещает, она будет артисткой. Мы как-то упускали из виду, что ведь с той минуты, как Нина ушла из отцовского дома, неопытной девочкой, прошло всего два года — и каких два года для нее: она была брошена любимым человеком, она потеряла ребенка — мудрено ли, что она не успела сделаться актрисой, но она «талантливо вскрикивала, талантливо умирала» и, конечно, она будет талантливо жить на сцене!

Пафос и романтизм Чехов признавал и отдавался их очарованию только в музыке. Тут границ и запретов не было. Он возил меня к соседям по имению, родственникам поэта Фета, только затем, чтобы послушать Бетховена: хозяйка дома превосходно играла. И когда он слушал лунную сонату, лицо его было серьезно и прекрасно. Он любил Чайковского, любил некоторые романсы Глинки, например, «Не искушай меня без нужды», — и очень любил писать, когда за стеной играли или пели. «Серенада» Брага, которую пела Лика под аккомпанемент рояля и скрипки, нашла отражение в его «Черном монахе»...

За все последние годы жизни Чехова мы встречались уже редко — только когда он бывал в Москве, если случайно и я там находилась в это время, а я жила в Москве все меньше и меньше. Последняя наша встреча живо осталась в моей памяти.

А. П. приехал в Москву осенью, но медлил уезжать, несмотря на ужасную погоду. Он остановился в небольшой квартирке, которую его жена делила с Марией Павловной. Я изумилась происшедшей с ним перемене.

Бледный, землистый, с ввалившимися щеками — он совсем не похож был на прежнего А. П. Как-то стал точно ниже ростом и меньше.

Трудно было поверить, что он живет в Ялте: ведь это должно было поддержать его здоровье; все говорили, что в его возрасте болезнь эта уже не так опасна — «после сорока лет от чахотки не умирают», — утешали окружающие его близких. Но никакой поправки в нем не чувствовалось. Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты.

Его жена, прекрасная артистка О. Л. Книппер, не мыслила себя без Художественного театра, да и театр не мыслил себя без нее. Вместе с тем она очень тяготилась вынужденной разлукой, предлагала А. П., что она все бросит и будет жить в Ялте, но он этой жертвы принять не хотел...

Когда-то А. П. шутя писал одному своему приятелю:

«...Извольте, я женюсь — если вы хотите этого — но мои условия: все должно быть, как было до этого — то есть, она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день»⁴⁰.

То, что так весело звучало в шутливом письме, оказалось не совсем так на деле. А. П. ценил талант О. Л., не допускал и мысли, чтобы она отказалась ради него от сцены, высказывался по этому поводу категорически. Однако скучал без нее в Ялте, чувствовал себя одиноким — особенно в темные осенние вечера, когда на море бушевал шторм, ураган ломал в саду магнолии, и кипарисы гнулись и скрипели точно плача, когда кашель мешал ему выходить, да и никто не отваживался высывать носа из дому в такую бурю, а он читал письма из Москвы, с описаниями веселой и полной жизни, которая шла там, описанием театра, дышавшего его духом, его пьесами, в то время когда он был отрезан и от жены, и от театра, и от друзей.

Понятно, что он все время рвался в Москву, ездил туда вопреки благоразумию, задерживался там — и эти перерывы фатально влияли на его здоровье.

В тот вечер, что я пришла к Чехову, О. Л. участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Немирович-Данченко во фраке с безупречным белым пластроном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами, ласково и нежно простилась с А. П., сказав ему на прощанье какую-то шутливую фразу, чтобы он без нее не скучал и «был умником», — и исчезла.

А. П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. Поднес свою баночку к губам и, когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей:

— Да, кума... помирать пора.

После этого раза я больше не видела А. П.

О его кончине я узнала за границей... И приехала на его могилу в Новодевичьем монастыре только несколько лет после его смерти — и моего долгого отсутствия из Москвы. Я застала там какую-то молодежь, пришедшую поклониться праху любимого писателя. С башенных часов, отбивавших каждую минуту, слетали как жемчужины и падали в вечность минуты. Я стояла и думала: «Нет — он не умер для нас. Он с нами — в каждом сером дне, в каждой девушке, задумавшейся над жизнью, в каждом облетевшем лепестке вишневого сада — и в светлой вере в то, что «жизнь еще будет прекрасной...»

Чехов иногда высказывал в разговоре такую мысль, что его скоро забудут.

— Меня будут читать лет семь, семь с половиной, — говорил он, — а потом забудут.

Но как-то он прибавил:

— Но потом пройдет еще некоторое время — и меня опять начнут читать, и тогда уже будут читать долго.

Он оказался прав. Он вообще часто в своих предчувствиях оказывался прав...

Когда я перечитываю Чехова, я часто встречаюсь с фразами и высказываниями, которые поражают меня. Так, например, в рассказе «Три года» его герой говорит: «Москва — город, которому еще много придется страдать...» Я вспоминала эти слова во время жестокой бомбежки Москвы осенью 41 года... Тут тоже можно проверить верность его взгляда в будущее.

Промчавшаяся буря первых годов революции на время заслонила от нас его задумчивый образ. Но прошли эти годы — Россия опять нашла Чехова, и наша смелая эпоха решилась откинуть от него кличку «нытика» и «пессимиста», шаблонные представления шаблонных критиков — и нашла в его грустных, как русская действительность его времени, рассказах те ростки живой веры в народ, в его будущее, те ноты уверенности в победе нового человека, которые так ясно зазвучали теперь для его исследователей.

Я иногда задумывалась над тем, что делал бы Чехов, как он поступал бы, если бы ему суждено было дожить до великой революции. И у меня всегда готов ответ: Чехов был настоящий русский писатель, настоящий русский человек. Он ни в каком бы случае не покинул родины и с головой ушел бы в строительство той новой жизни, о которой мечтал и он и его герои.

Воспоминания писательницы Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник (р. в 1874 г.) публикуются по тексту, подготовленному автором заново для настоящего издания.

¹ *Михеев* Василий Михайлович (1859—1908), поэт и беллетрист.

² *Яворская* Лидия Борисовна (1872—1921), драматическая артистка. В 1893/94 гг. играла в театре Ф. А. Корша. В 1895 г. перешла в труппу театра литературно-артистического кружка в Петербурге.

³ *Куманин* Федор Александрович, издатель журнала «Артист». Издавал также небольшие изящные книжки с виньетками и портретами авторов. В таком издании вышел сборник рассказов «Красавицы», куда вошел рассказ Чехова под этим же названием. Специально для этого издания Куманин возил к Трунову сниматься Чехова как автора, а Л. Б. Яворскую, Т. Л. Щепкину-Куперник и Л. С. Мизинову — для виньеток.

⁴ Чехов приобрел усадьбу Мелихово и переехал туда в марте 1892 г.

⁵ П. Е. Чехов, по приезде в Мелнхово, вел дневник — с марта 1892 г. по 12 октября 1898 г. Часть дневника напечатана в сб. «Чехов и его среда», Л. 1930.

⁶ Имеется в виду место из рассказа Чехова «Волк» (1886 г.): «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блесло звездой горлышко от разбитой бутылки».

⁷ Из письма к А. С. Суворину от 6 апреля 1892 г.

⁸ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 28 ноября 1894 г.

⁹ Из письма к М. П. Чеховой от апреля 1892 г.

¹⁰ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 11 августа 1895 г.

¹¹ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 22 июля 1898 г.

¹² П. Е. Чехов умер в клинике во время операции от ущемления грыжи 12 октября 1898 г. — А. П. Чехов был в это время в Ялте.

¹³ Из письма к Л. А. Авиловой от 29 апреля 1892 г.

- ¹⁴ Из письма к М. П. Чеховой от 28 марта 1897 г.
- ¹⁵ Из письма к М. П. Чеховой от 1 апреля 1898 г.
- ¹⁶ Из письма к А. С. Суворину от 9 декабря 1890 г.
- ¹⁷ Из письма к П. Ф. Иорданову от 15 марта 1896 г.
- ¹⁸ В письме к А. С. Суворину от 17 января 1897 г. Чехов писал: «Некоторую надежду подають прививки Хавкина, но к несчастью Хавкин в России не популярен...»
- ¹⁹ Из письма к А. С. Суворину от 9 марта 1890 г.
- ²⁰ *Кони* Анатолий Федорович (1844—1927), судебный деятель и писатель, почетный академик.
- ²¹ Чехов уехал в Нижегородскую губернию 14 января 1892 г. в связи с организацией помощи голодающим.
- ²² Из письма к П. Ф. Иорданову от 24 ноября 1896 г.
- ²³ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 24 декабря 1894 г.
- ²⁴ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 28 ноября 1894 г.
- ²⁵ Из записной книжки Чехова.
- ²⁶ «Чайка» была окончена Чеховым в ноябре 1895 г.
- ²⁷ *Корш* Федор Адамович, драматург, владелец драматического театра в Москве.
- ²⁸ Имеется в виду первый спектакль «Чайки» в Александринском театре 17 октября 1896 г., поставленный в бенефис комической артистки Левкеевой.
- ²⁹ В Художественном театре «Чайка» была поставлена впервые 17 декабря 1898 г.
- ³⁰ Из письма к Л. А. Авиловой от 29 апреля 1892 г.
- ³¹ Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 24 декабря 1894 г.
- ³² Мелихово было продано в августе 1899 г.
- ³³ Из письма к М. П. Чеховой от 14 октября 1898 г.
- ³⁴ Письмо к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 26 декабря 1898 г.
- ³⁵ Письмо к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 28 сентября 1898 г.
- ³⁶ Письмо к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 1 октября 1898 г.
- ³⁷ *Ермолова* Мария Николаевна (1853—1927), артистка Малого театра.
- ³⁸ *Случевский* Константин Константинович (1837—1904), поэт.
- ³⁹ *Щепкин* Михаил Семеныч (1788—1863), знаменитый артист.
- ⁴⁰ Из письма к А. С. Суворину от 23 марта 1895 г.